

PASSA PORTA OPENING LECTURE 2013

Михаил Шишкин

ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ

Мне было 15 лет, когда я в первый раз хотел объясниться в любви. Я не смог произнести ни одного слова, меня будто парализовало. Вдруг я остро ощутил всю ложь слов, их предательство. То, что я чувствовал, было совершенно невозможно вместить в глупые, дохлые слова. Тогда я впервые осознал, что все слова мертвы, а язык – это средство непонимания.

Наверно, с этого откровения, что словами ничего нельзя выразить, начинается писатель. Все важное происходит вне слов. И это важное, внесловесное, нужно перевести на язык языка. Потому что другого пути нет, только через слово. И писателю ничего не остается, как совершить чудо и воскресить мертвые слова, сделать их снова живыми. И только тогда можно говорить о любви.

Каждая настоящая проза – это объяснению в любви к Божьему миру.

Писатель, даже еще ничего не написав, заключает пакт с судьбой – принимать все, что она дает, как дар, как богатство. Семейные радости или горе, унижения и наслаждения, смерть и рождение – все становится хлебом насущным для будущих слов. Война, тюрьма, боль, кровь – все, что мучительно для тела и души, плодотворно для текста. Великим книгам неважно человеческое счастье или несчастье их авторов.

«Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда...»

Сор житейских будней? Стихам все равно. Но стихи Анны Ахматовой рождались не из пустяков быта, а из тех испытаний, которыми щедро одаривала эту женщину судьба: расстрел мужа, арест сына, хула и поругание, запрет печатать ее стихи, страх за близких, горе по невинно убиенным. Невозможно представить себе поэзию Ахматовой без ее судьбы.

Какой была бы поэзия Марины Цветаевой, если бы у нее была другая, а не ее исковерканная жизнь?

Одна из лучших русских книг двадцатого века, «Колымские рассказы» Варлама Шаламова, просто не появилась бы на свет, если бы у ее автора не было чудовищного опыта ГУЛАГа.

Жизнь и смерть гонимых и преследуемых писателей – неотъемлемая часть их книг. Конечно, если бы, Андрей Платонов, Исаак Бабель, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, сотни других поэтов и писателей, проживших жизнь, полную страданий, получили другую, более легкую и счастливую судьбу, то они все равно написали бы что-то. Но это были бы уже совсем другие книги. И тогда у человечества не было бы тех великих текстов, которые составляют нашу мировую литературу. И именно эти тексты, рожденные из боли, крови, унижения и муки, делают человечество человечеством.

С точки зрения истории литературы все писатели и поэты уже давно умерли, даже если они еще живы. В выборе между словами и человеческим счастьем автора, история всегда выберет слова. Слова для нее важнее. Автор рано или поздно все равно исчезнет, а слова останутся.

С тем, что слова важнее его личного счастья, пишущий, если он настоящий писатель и настоящий поэт, согласится, ведь он всегда помнит о заключенном с судьбой пакте – принимать все как дар. Словами Бродского:

«Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность.»

Все великие книги – это слова благодарности.

Но у писателя, у поэта есть близкие. И у них, в отличие от истории литературы, совсем другая точка зрения. Родной, любимый человек им ближе слов.

Свои лучшие стихи мой брат написал в тюрьме.

Его письма из тюрьмы были пухлые, набитые листами из школьных тетрадей. «Я сам чувствую, — писал он, — что мои тексты стали другими. И о другом. И я благодарен».

Свидания разрешались два раза в год. Маме за большие деньги удалось сделать так, чтобы его оставили в ближней зоне, во Льгове, всего ночь езды на поезде, чтобы она могла ездить его навещать, но она так ни разу и не поехала. У нее начался рак, пошли одна за другой операции. Ездить пришлось мне одному.

Хорошо помню, как поехал на «свиданку» первый раз.

Седьмая комната — две койки, стол, стул, тумба. В тумбе кастрюля, сковородка, чайник. В ящике стола — гнутые вилки, ложки из почерневшего алюминия. Тараканы. Запах тюрьмы — особый. Я об этом запахе был начитан.

В письмах он уверял маму, что питание сносное, что работа за штамповочным станком утомительная, но не тяжелая, - так что все в порядке. Мне казалось, что все это для мамы,

чтобы как-то поддержать ее, успокоить. Наверно, так и было. Он высох, потемнела кожа, больше появилось морщин. И исчез указательный палец на левой руке.

Саша улыбнулся:

— Пустяки! В ночную смену у станка зазевался.

И еще непривычно было видеть его в лагерном наряде: черная куртка с номером, кожаные шлепанцы.

Выходить зекам разрешалось только в туалет, и я толкался с бабами на кухне у стола и плиты, а Саша лежал на койке и ел в ожидании курицы торт. Свидание было двухдневное, и все это время на кухне что-то варили, жарили, а в комнатах без конца ели. Желудок, настроившийся давно на пайку и ларек, разумеется, все это переваривать отказался, и Саша часто бегал в конец коридора.

Ночью ни я, ни он, мы не могли заснуть. Саша все ворочался, потом вставал, подходил к столу, записывал что-то.

Следующий день мы провалялись на койках. Он все время читал мне свои стихи.

Из окна ничего не было видно из-за «намордника», только нарезанное на серые полоски небо, и брат расспрашивал — что здесь на улице перед зоной.

Потом крикнули:

— Шишкин!

Он съежился, втянул голову в плечи, лицо стало каменным. Саша сложил руки за спиной и пошел быстро, зацелкав шлепанцами по полу.

Потом из Льгова его отправили на Северный Урал, в Ивдель. В каждом письме просил прислать теплые вещи. Еще он писал маме, что она обязательно должна его дожидаться.

Она ждала его четыре года. Он вернулся в августе, и мама через два дня умерла. Вернись брат не в августе, а, допустим, в декабре, я уверен, мама дотянула бы еще до декабря.

Еще один день, прожитый любимым человеком, дороже всех слов на свете. У любви свой пакт с судьбой.

Должно было пройти немало времени после переезда с Пушки в кантон Цюрих, чтобы странное ощущение нереальности, карнавальности происходящего незаметно сменилось на робкое удивленное доверие, мол, действительно, все без обману: поезда не игрушечные, пейзаж не нарисован, люди не подсадные.

Сразу после смены декораций стал дописывать начатый в Москве роман, а ничего не получалось. Буквы, которые выводил там, здесь имеют совсем другую плотность. Роман получался о чем-то другом. О каждое слово спотыкаешься, как о высокую ступеньку.

Границы, расстояние, воздух делают со словами чудеса. Очевидность, натуральность любого русского звукосочетания на Малой Дмитровке, где за окном шумит казино "Чехов", не пропускается сюда таможней. Лишенные там самостоятельного существования слова здесь будто приобретают вид на жительство, из средства становится субъектом словесного права. Любое русское слово звучит здесь совсем не так и значит совсем не то. Так, наверно, в театре смысл любой сказанной фразы изменится, если поменять декорации.

На берегах Лиммата будто другая сила тяжести, всякое слово из русской чернильницы весит много больше, чем в стране-поставщике русской речи. То, что в России разлито, разбросано в атмосфере, в осадках и харях, в "Грушницкий - юнкер", в чеченской войне, в «Христос воскрес из мертвых» - здесь все сосредоточено в каждом слове, записанном кириллицей, упихано, утрамбовано в каждую Ы.

Исчезая с каждым днем все сильнее из реальности, отечество ищет себе новых носителей и находит таковых в закорючках экзотического алфавита. Россия со всем своим скарбом переселилась в шрифт. Буквы, как некогда квартиры, уплотнили для новых жильцов.

Отъезд из языка, потеря русского журчания в ушах заставил остановиться, замолчать. При редких встречах писатели из России удивляются: «Как ты можешь писать в этой скучной Швейцарии? Без языка, без напряжения?»

Они правы – у русской словесности повышенное давление. Да и язык там меняется быстро.

Отъезд из русской речи меня к ней же и обернул. Работа над текстом остановилась. Как пауза – часть музыки, так молчание – часть текста. Может быть, самая важная.

Какой язык я оставил? Что я взял с собой? Куда идти словам дальше? Работа молчания.

Чтобы идти дальше необходимо было понять, в чем, собственно, суть писания по-русски.

Будучи одновременно творцом и тварью отечественной действительности, русский язык является формой существования, телом тоталитарного сознания.

Быт всегда обходился без слов: мычанием, междометиями, цитатами из анекдотов и кинокомедий. Связные слова нужны власти и литературе.

Русская литература – это не форма существования языка, а способ существования в России нетоталитарного сознания. Тоталитарное сознание с лихвой обслуживалось приказами и молитвами. Сверху – приказы, снизу – молитвы. Вторые, как правило, оригинальнее первых. Мат – живая молитва тюремной страны.

Указ и матерщина – это отечественные инь и ян, дождь и поле, детородный орган и влагилице. Вербальное зачатие русской цивилизации.

На протяжении жизни поколений тюремная действительность вырабатывала тюремное сознание, главным принципом которого был - «сильнейший занимает лучшие нары». Это сознание выражалось в языке, который призван был обслуживать русскую жизнь, поддерживая ее в состоянии постоянной, бесконечной гражданской войны. Когда все живут по законам лагеря, то задача языка - холодная война каждого с каждым. Если сильный обязательно должен побить слабого, задача языка - сделать это словесно. Унизить, оскорбить, отнять пайку. Язык как форма неуважения к личности.

Русская реальность выработала язык оголтелой силы и унижения. Язык Кремля и лагерный слэнг улицы имеют одну природу. В стране, живущей по неписаному внятому закону – место слабейшего у параша – наречие адекватно реальности. Слова насилуют. Опускают.

Были бы границы на замке, не было бы никакой русской литературы...

В 18 веке вместе с идеей человеческого достоинства пришел литературный язык. Для него не было слов. Первый век отечественной литературы – это по сути переводы и подражания. Для выражения индивидуального сознания не было словесного инструмента. Его нужно было сперва создать. Русский учили, как иностранный, и вводили отсутствовавшие понятия: общественность, влюбленность, человечность, литература.

Русский литературный язык, являясь формой существования, телом человеческого достоинства в России, втиснулся в трещину между окриком и стоном. Русская литература вклинилась в чужие объятия. Из слов построила великую русскую стену между властью и народом.

Чужеродное тело.

Колония европейской культуры на русской равнине, если под европейской колонизацией подразумевать смягчение нравов и защиту прав слабых перед сильными, а не завоз немцев-пушкарей.

Как это бывает, и на других континентах, колония в своем развитии обогнала метрополию. Тургенев, Толстой, Достоевский – все это колонисты, которые своими текстами перенесли столицу литературы из Старого Света в Россию. Взяли все лучшее из тысячелетнего наследия и – go east!

Но неладно все в русском царстве, и время от времени власть и народ прорываются друг к другу, и тогда плохо чужеродцам. И писательские кости трещат в этих объятиях: либо умереть, либо выскользнуть.

В 20 столетии наступили известные события. Туземное население вновь вернулось к привычному «литературному процессу»: сверху - приказы, снизу – молитвы. Одни «колонисты» вернулись на историческую родину, другим, кто остался, дикари вырвали языки.

Придуманный язык советской утопии, и был телом ее существования. Придуманная мертвая реальность социализма существовала только в адекватном мертвом языке газет, телевидения и собраний. В 1990-х, когда вместе с режимом исчез обслуживавший его язык, лагерная фея поднялась вверх — и заполнила опустевшее пространство.

Опять власть и народ говорят на одном наречии и «мочат чеченцев в сортире».

Тоталитарное сознание сегодня живет в языке телевидения, где главный принцип ведения диалога – перекричать другого. Это язык газет, пожелтевших до рвоты. Это язык улицы, где мат стал нормой.

Язык русской литературы – ковчег. Попытка спастись. Круговая оборона. Островок слов, на котором должно быть сохранено человеческое достоинство.

Уехав из России, я потерял тот язык, который хотел потерять. Изменения в современном русском языке – это линька. Шерсть вроде другая, а окрас тот же, узнаваем до боли. Этот язык, призванный опускаться, воспроизводит с каждым поколением русских мальчиков и девочек сам себя. Литературный язык сам по себе не существует, его нужно каждый раз создавать заново и в одиночку.

Чтобы построить свой русский литературный ковчег, нужно стать отшельником. Уйти. Неважно куда – в Альпы или в себя. Взять с собой только прожитый опыт любви и утрат и десять веков кириллицы..

Чтобы знать направление слов, нужны две точки, через которые можно провести линию движения. Одна точка – это все, что было написано до тебя по-русски, начиная со славянского перевода Писания. Вторая точка – это ты сам со всеми твоими потрохами и любимыми людьми.

Чтобы сказать что-то новое, нужно чувствовать в себе века традиции. Если где-то на электростанции нажать на кнопку, то в окнах городов замигает свет. Так в литературе, если написать слово, оно отзовется во всех уже существующих книгах, независимо от того, прочитал ты их или нет.

Литературная традиция – живое существо. Растение.

По стволу идут соки к веткам. XIX век – это ствол русской литературы. Потом разветвление. Есть ветки совершенно гениальные, тот же Платонов, но это такой обрубленный сучок, дальше ничего расти не может. Важно найти ту ветку, которая тянется вверх, главную ветку, которой дерево растет в небо.

Чехов. Бунин. Набоков. Саша Соколов.

Для меня единственный способ создания своего языка – писать неправильно. Я принимаю к каждой фразе, и если она пахнет пособием «Правильно говорим и пишем», я ее вычеркиваю. Сказать что-то правильно, значит не сказать ничего. Потому что язык после Вавилонской башни есть средство непонимания. Правильные слова, испустившие дух, обозначают что угодно, только не то, что хочешь сказать, и вызывают чувство брезгливости, как чужая замызганная зубная щетка или женщина общего пользования.

Приехав в «скучную» Швейцарию, где вроде бы не о чем писать, я окунулся в Россию. Последние годы я работал переводчиком в службе миграции, переводил интервью с беженцами из бывших братских республик. Я переводил слова на судьбу. Нестрашных историй

там не рассказывают. Герой романа, «Министерства обороны рая беженской канцелярии толмач» оказался переводчиком между двумя мирами. Интерфейсом между двумя несовместимыми системами.

Рассказанным историям швейцарский чиновник Петер Фишер не верит и райские врата всегда останутся на замке.

Что было на так называемом самом деле – никто никогда не узнает. Но рассказанные истории, слова создают свою реальность. Важны детали. Слова создают действительность и решают судьбу.

Безвестные писатели написали под четырьмя евангельскими псевдонимами книгу, которая сделала мир таким, какой он есть. Их слова создали ту самую реальность, в которой мы живем две тысячи – просто слова должны быть достойными веры. Не было бы детали с печеной рыбой, которую он ел, проголодавшись после смерти на кресте, и вложенным в рану пальцем, мир не стал бы христианским и не ждал бы воскресения. Слово становится реальностью. И мы сами – только часть этой реальности.

Пишущий - связка между двумя мирами: между нереальным миром жизни, где все текуче, мимолетно, смертно и исчезает без следа, как только что прошмыгнувшая секунда или как тысячи прошмыгнувших поколений – и миром достойных веры слов, которые вспыскивают эликсир бессмертия и той печеной рыбе, и тому меду, и тому пальцу. И тому живому, несмотря на смерть, человеку, чьи ноги бросились обнимать обе Марии.

Если не превратить жизнь в слова – ничего не будет.

Автор - интерфейс между землей и небом. Между жизнью и текстом. Тот, кто может провести людей из времени во всегда.

На одной стороне есть летучий мимолетный мир, в котором жить нельзя, из которого все бегут не оттого, что где-то мало денег, не оттого, что где-то больно, кого-то обижают, не оттого, что кого-то в тюрьму посадили, а все бегут из этого мира, потому что в нем есть смерть. Вбирая в себя этот мир, на другом конце автор должен противопоставить что-то адекватное по силе. Для этого нужно создать мир, где нет смерти.

Язык – средство воскрешения. Роман о том, что смерти нет. Это все знают, но каждый должен найти для себя какие-то свои доказательства. И вот я ищу. В одном апокрифе сказано: «И словом был создан мир и словом воскреснем.»

Есть легенда об узнике, приговоренном к пожизненному заключению в одиночке. Он годами черенком тюремной ложки царапал на стене лодку. И вот однажды ему принесли, как обычно, воду, хлеб и баланду, но камера оказалась пустой, а стена чистой. Он сел в свою нацарапанную лодку и уплыл.

Роман – это лодка. Нужно так оживить слова, чтобы лодка стала настоящей. Чтобы в нее можно было сесть и уплыть из этой жизни-одиночки туда, где нас всех любят и ждут. Спасти. И взять с собой всех своих героев. И читателя.